

Если человек не станет бояться людей, говорит наш автор в другом месте, то он будет всегда и везде свободен и спокоен, потому что будет бояться только Бога, только своей совести.

Это-то и есть состояние святости. Совершенно справедливо. Замечу только, что «совершенная любовь», та любовь, которая «изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18), и есть святость. А основание, начало такой любви есть страх Божий, страх же этот есть плод веры. Итак: без веры невозможен страх Божий, без него невозможны ни любовь, ни святость... Вот все главнейшее, что мне хотелось высказать по поводу статьи Н. Н. Страхова.

## МНЕНИЕ СВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ О МОНАШЕСТВЕ

(Н. Страхов. Воспоминания и отрывки)

### I

В этой небольшой книжке очень много интересного и поучительного, как и всегда у Н. Н. Страхова, но на этот раз я хочу коснуться лишь одной из статей, помещенных в этой книжке. Я подразумеваю статью, озаглавленную «Воспоминания о поездке на Афон». В статье этой вы не найдете подробного описания Афонской горы, ее монастырей, ее подвижников; в ней гораздо больше личных впечатлений автора, но они-то и интересны. Интересны впечатления такого писателя, как Н. Н. Страхов, вынесенные им с Афона, — интересны впечатления человека, самостоятельно и своеобразно мыслящего, о явлении, которое для большей части нашей «интеллигенции» представляется чем-то весьма отдаленным, как бы остатком какого-то иного мира, остатком той старины, в которой, по мнению этой «интеллигенции», ничего кроме темноты и невежества не было.

Н. Н. Страхов, собираясь на Афон, столкнулся именно с такого рода воззрениями.

«Прежде всего, – пишет он, – чувствую, что мне следует представить своим читателям некоторые объяснения и почти оправдания. Как случилось, что я попал на Афон? Что привело меня туда? И тогда, и потом мне приходилось часто слышать подобные вопросы. Еще на пути к Святой горе не раз я замечал, что моя поездка возбуждает удивление, особенно если случалось говорить с незнакомыми людьми. И на железной дороге, и в севастопольской гостинице, и на пароходе, и в Константинополе, даже в нашем консульстве и посольстве, – мои собеседники иногда очень заметно выражали мне свое недоумение. Когда, бывало, случалось мне объявлять мой чин статского советника, то это всегда производило благоприятное впечатление; когда потом оказывалось, что я служу библиотекарем, то это значительно охлаждало внимание, возбужденное моим чином; но когда я говорил, что хочу поехать на Афон, то я видел, что вдруг совершенно ронял себя во мнении моих собеседников. Живой разговор, подстрекаемый тою скукой, которую большинство людей чувствует в дороге, вдруг затихал; иные чуть не готовы были от меня отвернуться. Очевидно, в их глазах я попадал в разряд людей, которым не могут быть доступны высшие интересы просвещения и которые сами питают какие-то дикие интересы. Случалось мне замечать потом, с каким высокомерием и нескрываемым недоброжелательством иные из этих просвещенных людей смотрели вообще на монахов: без сомнения, они видели в них какой-то вредный элемент человеческого общества.

Итак, – заключает Н. Н. Страхов, – некоторые объяснения с моей стороны, мне кажется, необходимы, хотя, конечно, не для всех читателей. Вражды и слепого взаимного непонимания еще много в наш прогрессивный век, может быть, даже больше, чем в другие века...»

Вот как поставлено дело, и вот что первое заметил путешественник из образованного класса, собравшийся на Афон. Это очень знаменательно. Те «просвещенные люди», о которых говорит Н. Н. Страхов на только что приведенной странице, эти представители «культурного одичания» до того одичали, что, вероятно, даже не заметят той тонкой и именно своею тонкостью язвительной иронии, которою проникнута приведенная страница из статьи Н. Н. Стрхова.

Да, да: «статский советник» – это понятно для современного «просвещенного человека»; «библиотекарь» – это тоже понятно, хотя степень почтительности при этом известии понижается; но вот человек едет на Афон к монахам – это совершенно непонятно, это можно объяснить единственно тем, что такому человеку «недоступны высшие интересы просвещения». И в этом глубокий комизм положения. Ехал-то на Афон Н. Н. Страхов, не только по мнению его литературных поклонников, но и по мнению его литературных врагов, один из образованнейших людей в России, человек, соединяющий специальное образование натуралиста с высоким философским и литературным образованием.

Достоевский рассказывает где-то, что покойный Салтыков, разговорившись с ним о художественном творчестве, заметил, что никакая самая богатая сатирическая фантазия не может опередить действительность<sup>1</sup>. Самые, по-видимому, фантастические предположения оказываются бледными пред теми, которые создает сама жизнь. Я не помню подлинных слов покойного сатирика, но смысл их был именно таков. И вот это замечание пришло мне на память, когда я читал приведенную страницу из воспоминаний Н. Н. Стрхова. Разве только Гоголь мог бы выдумать такое исполненное глубокого комизма положение, когда человека, стоящего на вершинах образован-

<sup>1</sup> Имеется в виду «Дневник писателя» за октябрь 1876 года.

ности, осуждают невежды именно за непросвещенный образ мыслей...

Подлинно, «холопы просвещения», как сказал о них Тютчев.

И вот эти-то «холопы просвещения», которые еще и до сих пор играют у нас роль «образованных людей», эти одичавшие «интеллигенты» и пустили в ход то мнение о монастырях и монашестве, которое господствует в нашем обществе.

Обыкновенно все подобные взгляды нашего общества, непонимание им, например, значения монастырей, приписывают главным образом разорванности его с народом, с его верованиями, с его идеалами. Конечно, отчасти это так, но есть и другая причина. Она заключается в дикости, в грубости этого общества, прикрытой лишь кое-какою внешностью цивилизации. Я не говорю уже о религиозном чувстве, которое могло быть вытравлено западным влияниями, я говорю лишь о чувстве эстетическом. Люди, чувствующие поэзию, почувствуют *непременно* и поэзию монастыря, поэзию монастырской жизни, пустынножительства. Но и поэтическое чувство в нашем обществе вовсе не развито. Надо ли это доказывать? У нас не знают Пушкина – и восхищаются Надсоном, а уж, без сомнения, восхищаться Надсоном могут лишь в обществе, где безнадежно не знают и не понимают Пушкина...

Дело в том, что, даже не будучи религиозным человеком, можно чувствовать поэзию монастыря, как чувствовал ее, например, Тургенев, давший нам образ такой монашенки, какова Лиза Калитина<sup>1</sup>. Если бы монастырь был тем, чем представляют его себе в нашем обществе, не потянуло бы туда такую чистую и глубоко поэтическую натуру, какою была Лиза.

Наше общество поверхностно в высшей степени, и вот что прискорбно. Оно судит и рядит, произносит безапел-

---

<sup>1</sup> Героиня романа Тургенева «Дворянское гнездо».

ляционные приговоры о вещах и предметах, о которых не имеет никакого понятия, в том числе и о монастырях, и о монашеской жизни. Тут сказывается и закоренелое неумение проникать в сущность явления, брать в расчет именно эту сущность. Останавливаются только на подробностях, только на мелочах, эти мелочи ставят на место главного и по ним судят о всем явлении. Упускают из виду, что в монастыре, в монашестве выражена со всею полнотой идеальная сторона человеческого духа, что с такою полнотой, и притом в массе соединенных одною идеей, одним чувством людей, эта идеальная сторона сильнее и полнее, быть может, никогда и нигде не выражалась.

Что находит себе выражение в монастыре, в монашестве, какие стороны души человеческой, какие ее стремления? Стремление к смирению, к преклонению пред бесконечно высоким и бесконечно прекрасным; стремление уйти не от мира, а от зла, разлитого в мире, стремление освободиться от того зла, которое живет и в душе человеческой, – словом, стремление к *подвигу*.

Говорят: все это хорошо, и *в идее*, может быть, оно и так, но есть много плохих монахов, и, таким образом, самая идея не осуществляется.

Подобные речи слышны были еще недавно, произнесенные чуть ли не с кафедры<sup>1</sup>. Какое наивное рассуждение!

Неужели же из того, что много – и слишком много – плохих людей, можно вынести, что дурен человек? Дурных людей много, конечно, но человек все-таки остается венцом создания, образом и подобием Божиим. И если люди забывают это, то тем хуже для них. Неужели, точно так же, если есть много плохих монахов, то монашество, монастырь теряют свой смысл, утрачивают свое идеальное назначение?

<sup>1</sup> Подразумевается получивший скандальную известность реферат Вл. Соловьева «О причинах упадка средневекового мирозозерцания», читанный им в заседании Психологического общества 19 октября 1891 года.

Но прочтите «Житие Серафима Саровского», припомните недавно почившего отца Амвросия Оптинского, – и вы поймете, что такое монастырь, что такое монашество, какое бесконечное значение они имеют, не говорю уже для народа, но и для общества.

Ап. А. Григорьев как-то разговорился с одним замечательным писателем (он его не называет, но из рассказа видно, что это был покойный Салтыков, которого Григорьев очень ценил за некоторые его рассказы в «Губернских очерках») об известной книге инок Парфения<sup>1</sup>. Этот писатель, рассказывает Григорьев, «в ответ на мою речь выразил опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развила бы слишком аскетического настроения».

«Тогда я готов был сказать моему собеседнику вот что, – продолжает Григорьев. – “Не бойтесь за человечество, что оно все уйдет в пустыни и дебри; но бойтесь за него, когда совершенно пусты будут пустыни и дебри, когда оборвется эта струна в его душе, заглохнет эта ненасытная жажда идеала, высшего, Бога, влекущая подчас в пустыни и дебри”»...

«Теперь я не скажу этого, – прибавляет Григорьев, – ибо слишком твердо убежден, что никогда эта струна не иссякнет, эта великая жажда не насытится; но в виде поучения извлеку из приведенного разговора то, что не учить жизнь жить по-нашему, а учиться у жизни на ее органических явлениях – должны мы, мыслители».

И если наше общество желает действительно мыслить, а не притворяться мыслящим, то ему необходимо «учиться у жизни на ее органических явлениях» – то есть стремиться проникнуть в смысл этих явлений, а не относиться к ним с дешевым и шаблонным отрицанием или с еще более дешевым остроловием... А какое же явление

---

<sup>1</sup> Имеется в виду: Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святыя Горы Афонския инок Парфения. М., 1855; 2-е изд. 1856. Ч. I–IV.

более глубоко вросло корнями в историю человечества, если не монашество? Оно выросло и развилось из самых глубоких и основных запросов и стремлений человеческого духа. И вот в этом-то смысле Афон драгоценен и для людей образованных, желающих смотреть глубже и мыслить серьезнее, чем смотрит и мыслит «интеллигентная» толпа. Если народ наш *паломничает* на Святую гору, пусть наши образованные люди *пока* хотя только изучают Афон. И это уже будет шагом вперед.

## II

И действительно, образованные люди понимают это, понимают тот интерес, который представляют собою явления своеобразные. Вот что пишет Н. Н. Страхов о том, что его побудило поехать на Афон:

«У меня были два свободных месяца, и мне захотелось увидеть что-нибудь новое, посмотреть собственными глазами на какое-нибудь большое зрелище, не похожее ни на что прежде виденное, и прикоснуться душой к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам, по которым мы сами живем. Европа меня не тянула, хотя в прежние поездки в Париже мне не пришлось провести и десяти дней, а в Лондоне и вовсе не удалось побывать. Европу ведь можно видеть тут, в Петербурге; ее жизнь, ее нравы и вкусы широкою волной наплывают к нам через это “прорубленное окно” и оседают здесь в самых точных своих формах. Мы даже и говорим по-французски, хотя утонченные западники, как, например, Тургенев, и замечают, что петербургский французский язык будто бы *противен* в сравнении с прелестью настоящего французского языка. Но не всякому доступна такая проницательность; для грубого взгляда наш Петербург – совершенно европейский город. Не только улицы, дома и магазины устроены по-европейски, но и книги, картины, кокетки, принципы,

вкусы и приемы – все целиком приходит к нам с Запада и господствует беспрекословно в нашей жизни.

Но куда деваться от Европы с ее современной культурой, захватившей чуть не весь мир, распространившеюся чуть не по всему земному шару?

Итак, от Европы трудно уйти. Какая охота ехать в Египет? – пишет Н. Н. Страхов. – Пришлось бы идти вверх по Нилу на каком-нибудь французском пароходе, потом остановиться в Каире в “Европейской гостинице”, а вечером идти в театр слушать итальянскую оперу. Жить на другой точке земного шара, но в нашей обыкновенной обстановке, видеть кругом только дребезги былой жизни, не встречать вокруг себя никаких форм и движений, в которых проявляются сила и творчество самобытного народа, самобытной истории, – тут нет ничего особенно интересного.

И вот таким уголком, где не пахнет Европой, является Афон.

Там сохранилась до наших дней и продолжает неприкосновенно процветать особая жизнь, начавшаяся с первых веков христианства и уже почти тысячу лет назад вполне сложившаяся в свои формы. Эти монахи показали, как бы в виде огромного исторического примера, истинные свойства монашества, то есть что они действительно отрекшись от мира богомольцы, чуждые всяких земных дел. Так их и поняли свирепые турки и оставили их в покое, так что люди, отказавшиеся от всех земных благ, сохранили в течение многих бедственных веков лучшее благо – независимость и самобытный склад жизни. Но цель их была раз навсегда назначена, и средства для нее от начала были определены; поэтому им не нужно было никаких перемен, и у них не было прогресса, не было истории. По свидетельству ученых исследователей, Афон есть действительно живой остаток глубокой старины и в этом отношении место, единственное в своем роде, подобного которому нет ни в одной стране обитаемого мира.



Вспомним при этом, какой дух там живет, – дух нашего православного благочестия. Там – одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое составляет истинную душу русского народа. Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть высший идеал русских людей, начиная от неграмотного крестьянина и до Льва Толстого».

Так пишет Н. Н. Страхов.

Иные скажут: да помилуйте, зачем искать места, где не пахнет Европой? Европа интересна. Европа разнообразна, там культура, там просвещение. Да, *была* интересна и разнообразна. Один из героев Достоевского, уезжая в Европу, говорит: «О, ведь я знаю, что еду всего только на великое кладбище поклониться великим мертвецам!»<sup>1</sup> Это чувство, думается мне, испытывает всякий сколько-нибудь самостоятельно мыслящий и не лишенный эстетического чувства человек. В той же книжке Н. Н. Стрехова, о которой речь, есть его заметки о путешествии в Италию. И что же? Везде, где он касается современности, он говорит о ней с какою-то равнодушною иронией и вдохновляется и одушевляется, когда дело идет о «великих мертвецах», погребенных в музеях и галереях, в стенах старинных монастырей. В европейской же современности видно только распадение культуры, измельчание просвещения – зрелище, грустное для людей, которые действительно любят это «великое кладбище», действительно преклоняются пред тамошними «великими мертвецами». Таких людей современная Европа не может освежить, ободрить, как освежает и ободряет их соприкосновение с людскою жизнью, «идущею не по тем началам, которыми мы сами живем».

### III

Пароход, на котором ехал Н. Н. Страхов, пристал к Афону ночью. Надо было разбудить монахов, и лишь по-

<sup>1</sup> Подразумеваются слова Ивана Карамазова.

сле довольно долгого времени к пароходу стали подходить монастырские лодки.

«Хлопот было много, и монахи усердно работали, принимая путников и их вещи, – читаем в статье Н. Н. Страхова. – Я празднично стоял, вглядываясь в эту оживленную картину. И тут меня поразило впечатление, которое потом уже не покидало меня во все время, проведенное на Святой горе. Послышались быстрые, торопливые восклицания монахов: “Сюда! держитесь! подвиньтесь! посвети, брат Василий! отец Памва, еще немножко!” и т.д. Но, несмотря на всю живость и поспешность этих речей, в них было что-то особенное. Они не только не подымались до крика, не только в них не звучало и тени раздражения или досады, но не было даже простой небрежности или отрывания; торопящиеся голоса были неизменно ласковы, чисты и свободны. Эти монахи, которых мы вдруг разбудили, оказались на этой пробе истинными монахами. И то же самое вы заметите всегда и на всем Афоне, и в монастырях, и в Карее, и на дорогах к лесу, и на лодках у берегов. Везде в речах и действиях господствуют совершенное бесстрашие и спокойствие, которые при каждом удобном случае переходят только в радушие и ласку. “Благословите!”, “Бог вас благословит!”, “Будьте благословенны!” – такими приветствиями обмениваются на Афоне пешеходы и всадники, встречающиеся на дороге. В продолжение двух недель я не слышал ни единого крика, ни единого сердитого слова; эта удивительная тишина, прямое отражение и выражение душевного мира, поразила меня в первый день, а потом пленяла все больше и больше. Так живет весь полуостров, все его десяти-тысячное население».

Такое впечатление вынес Н. Н. Страхов с Афона, и благодаря этому впечатлению он с негодованием говорит о тех иностранцах и русских «интеллигентах», которые не могут понять смысла монашеской жизни. Смысл

ее – *духовная радость*, а не скука, уныние и тоска, как думают многие.

«Неправильное мнение о жизни монахов, – замечает Н. Н. Страхов, – мне кажется, происходит от двух причин: от ложного понятия об их *лишениях* и от ложного понятия об их *трудах*. Мирские люди часто с непонятным бесстыдством принимают сожалеть о том, что монахи лишают себя двух великих благ: мяса и женщин. Можно подумать, что именно *похоть плоти* составляет главную красу человеческой жизни; большинство, как мы знаем, искренно исповедует это, почему во всем цивилизованном мире и совершается в огромных размерах и с величайшим усердием служение чреву и спинному хребту».

И не в этом ли, кстати сказать, нужно искать причину того недоброжелательства, которое существует по отношению к монастырям и монашеству «во всем цивилизованном мире»? Не потому ли так недоброжелательно относятся к монашеству, что в глубине души чувствуют в нем обличение все своей «цивилизованной» жизни со всею ее ложью, со всею ее тоской, происходящею оттого, что все же реабилитированная плоть не может окончательно и бесповоротно заглушить запросы духа? Почему в народе нашем нет не только недоброжелательства к монашеству и монастырям, а, напротив, неоскудевающее стремление туда? Не потому ли, что склад народных понятий иной, чем у нас, не потому ли, что народная душа не извращена так, как наша? Без сомнения, и народ наш грешит, и он предается *похоти плотской*, но никогда он эту похоть не возводил в правило и, греша, так и знает, что грешит. Вот почему монастырь своею идеей – идеей чистоты, целомудрия, смирения – не раздражает народ, как раздражает нас, а, напротив, привлекает его к себе. Народ несет свою тоску – следствие греха – свое покаяние именно туда, в монастырь, и там находит разрешение этой тоски. Мы стараемся, как говорится, размыкать свою то-

ску так или иначе, потому что не сознаем ее причины, потому что в грехе уже не видим греха, а, напротив, видим в нем признак тонкости развития и проявление, по нашему мнению, просвещенных чувств. Самая *идея* монастыря столь противоположна идеям, которыми мы живем, что уже одно сознание этой противоположности вызывает в нас недовольство и раздражение. Но этого недовольства и раздражения не могло бы быть, если бы мы не притворно, а действительно сознавали, что наша идея возвышеннее и благороднее... Посмотрите, с какою добротой, с какою бесконечною снисходительностью хорошие монахи относятся к нам, к людям общества, к людям противоположной им идеи. Почему? Да потому, что они чувствуют высоту своей идеи и снисходительно смотрят на наше заблуждение. Вот в чем дело. И если бы действительно наша идея была выше, как мы думаем, то вышло бы наоборот: *мы бы* со снисходительною добротой смотрели на них, а не они на нас, – как это есть в действительности.

Однако мы, в самом лучшем случае, можем понять монашество только как результат разбитой жизни. Мы думаем, что в монахи может пойти только человек, которому изменило все мирское. Мы думаем, что если не так, то в монахи идут либо люди грубо суеверные, либо и в монашестве желающие достигнуть своекорыстных целей. О подобных наших воззрениях хорошо говорит Н. Н. Страхов в следующих строках:

«Мы все немножко чувствуем, как мы дурны и гадки, мы несколько понимаем надобность покаяния, а потому легко воображаем, что монах есть человек, много нагрешивший и теперь предающийся покаянию. Мы так часто видим разбитые сердца, погубленные жизни, изможденные души, что несколько понимаем и потребность покоя, а потому объясняем себе монашество как жажду уединения, как удаление от людей. Но дальше мы понимать не можем. Что в покаянии душа исцеляется и светле-

ет, что в уединении человек не только спасается от людей, а способен почувствовать радостное приближение к Богу, словом, что монашество есть путь действительного блаженства, что, следовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи ни великим грешником, ни великим несчастливцем, – этого мы понять не можем, это выходит за пределы всех наших представлений».

Но даже если побуждением к монашеству (что часто бывает) являются или сознание своей греховности, или великие несчастия, то ведь и в этом случае люди идут в монастырь, чтобы найти там душевный мир, идут в уверенности, что там *знают* путь, приводящий к этому душевному миру...

Какое же общее впечатление оставил Афон на Н. Н. Страхова? Это мы можем видеть из следующих, заключительных строк его статьи:

«Когда я вспомню о своей поездке и о любезных моих монахах, я не могу их себе представить иначе как в церкви, за молитвой. Там, за дальними морями, на светлом юге, в цветущей своей пустыне, они стоят в больших и малых храмах с лицами и сердцами, обращенными к Богу.

Когда бы я ни вспомнил о них, утром, или вечером, или ночью, я знаю, что они делают: они поют и славословят или молчат и благоговеют. И вот уже тысяча лет, как восемь или десять тысяч этих монахов совершают эти непрерывные молитвы, которых я был очевидцем. При таких воспоминаниях, при картине, возникающей в моем воображении, умиление неотразимо проникает в душу, и пробуждается то чувство, которое так ярко горит на Афоне, – жажда молитвы».

Вот какое впечатление от соприкосновения с Афоном вынес один из образованнейших русских людей, впечатление, столь противоречащее тому, что говорят и думают о монашестве среди нашего «интеллигентного общества».